

Полли Джонс

## «Опасные слова»

(Комментарий к статье Каролайн Хамфри)

Убийственная сила слова в советском социуме тонко схвачена в антропологическом исследовании Каролайн Хамфри, посвященном табу в советской культуре. Хорошо известно, что советская культура, особенно в сталинскую эпоху, после появления социалистического реализма, была «литературоцентричной» и «графоманской». Слово прославлялось как высшее достижение модернизации, означавшее распространение грамотности и установление более четкого дискурсивного (а следовательно, и социального) порядка. Позитивной идентификации советской культуры с «культурным языком» сопутствовала, однако, предельная осторожность, с которой «плохие» слова отделялись от «правильных» советских текстов. Предварительная цензура и законодательно оформленные репрессивные меры, направленные как против антисоветского дискурса, так и против некультурного хулиганского языка (такого, как мат), представляли собой мощное средство борьбы с текстами и речевыми актами, угрожавшими внести диссонанс в гармоничный хор, певший хва-

**Полли Джонс (Polly Jones)**

Лондонский университет  
(Институт славяноведения  
и истории восточной Европы),  
Великобритания

лы власти. Данные способы регуляции исключали неправильные речения и их авторов из дискурсивного сообщества, а часто и из сообщества социального, в качестве последнего средства отправляя этих людей в ГУЛАГ или уничтожая их.

Однако, как показывает статья Хамфри, а равным образом и многие другие недавние исследования, посвященные советской культуре, функционирование советской власти не следует понимать исключительно как вертикальное, сверху вниз, давление посредством правил и способов регуляции; скорее, как и в случае других практик повседневности, использование языка определялось и регулировалось не только партией, но и изнутри самого общества. Ограничения, касающиеся того, что может быть высказано и написано, часто являлись результатом консенсуса и активно насаждались как советскими властями, так и советским народом; саморегуляция и самоцензура, в основе которых лежали критерии и цели иные, чем критерии и цели советской цензуры, являлись важным дополнением к принуждающей власти государства в установлении границ советского дискурса.

Статья помещает этот кажущийся причудливым консенсус внутри *longue durée* русской культуры. Подчеркивая преемственность между народной культурой и практиками советской модернизационной политики, Хамфри указывает на то, чем советская языковая цензура обязана старым оккультным представлениям о силе слова, снимая разрыв, который революционеры-большевики пытались выстроить между дореволюционным и постреволюционным мирами. Помимо этого, в статье отмечается, что даже в ситуации наиболее жестких репрессий и давления языковая изобретательность населения поддерживала относительную автономию народной культуры, в рамках которой советские граждане вырабатывали коммуникативные средства выражения неортодоксальных представлений — посредством или слова, или хорошо разработанных кодов молчания. Однако в построениях Хамфри имплицитно содержится более дискуссионное утверждение о том, что народная и официальная культуры во многих отношениях совпадали — в своих общих представлениях о табу. Так, вдобавок к той роли, которую играли репрессивные механизмы, упорно сохраняемые народные верования о предзнаменованиях также могли способствовать добровольному приятию народом установленных государством запретов или, по крайней мере, инстинктивному пониманию представлений о власти слова, на которых имплицитно строилась языковая политика большевиков. Соответственно, боязнь говорить о вещах, подвергшихся табуированию, оказывалась двойной: страх нарушить советские установления и одновременно глубоко сидящая бо-

язнь преступить правила, базисные для русской культуры. Второй тип страха мог даже, как пишет Каролайн, оказываться более глубоким, чем первый.

В то же время более детальное исследование преемственности между фольклорными табу и ГЛАВЛИТОм должно было бы обратиться к посреднической роли царской цензуры, в наследство от которой советской власти, конечно, и досталась продуктивная модель бюрократического контроля над печатным словом. Сравнение административного и юридического механизмов позднецаристской и советской цензур помогло бы понять конкретные линии преемственности в регулировании «языкового поведения», сосуществовавшие с более старыми и, быть может, более диффузными представлениями, о которых говорит Каролайн, очерчивая силы коллективной и индивидуальной «самоцензуры», действующие в рамках народной культуры. *Longue durée* народных верований, снимающее мнимый разрыв 1917 года, не должно скрывать от нас более банальную преемственность администрирования и социального контроля, заметную в отношениях между царизмом и советским режимом.

Однако, помимо этого, рассуждения Каролайн подводят нас к некоторым более общим выводам, касающимся советской культуры. Статья Хамфри указывает на устойчивую двойственность со стороны советских властей по отношению к народной культуре. Пыталась ли советская культура вобрать в себя народные верования для того, чтобы породить цинически синкретический дискурс, к которому была бы восприимчива (по крайней мере, поначалу) крестьянская неграмотная аудитория? Или же кажущееся сходство между старыми языковыми запретами и советской цензурой является не лишенным иронии совпадением, быть может, порожденным подсознательными представлениями самих советских вождей (уже неоднократно говорилось о семинарском образовании Сталина)? На этот вопрос, наверное, никогда не будет дан удовлетворительный ответ. Более серьезного рассмотрения, однако, заслуживает проблема заметной обеспокоенности советских властей по поводу народной культуры; это осложняло усилия государства по упорядочению и контролю над подчас «цветистыми» народными формами выражения.

Непростые отношения властей с фольклором, а также эволюция советской политики в религиозной сфере хорошо документированы. Однако статья Каролайн указывает и на целый ряд иных типов двойственности, присущих официальной точке зрения на народную культуру. Во-первых, как демонстрирует пример восхитительно грубой колхозницы, «табуирован-

ный» язык, особенно в устной форме, можно легко спутать с незамысловатой рабочей прямотой, разновидностью пролетарской народной культуры, которую советские власти, по крайней мере, в теории, должны были бы поощрять. Можно представить себе, что поведение этой женщины представлялось меньшим из двух зол; хотя она и вела себя грубо, но, по крайней мере, не принадлежала к буржуазии (поскольку настоящий кулак никогда не стал бы выражаться подобным образом). В данном примере и в этих исторически конкретных обстоятельствах (коллективизация) радость по поводу того, что классовые табу не были нарушены, отвлекла внимание от языковой трансгрессии. Тем не менее несложно представить себе другие партсобрания или иные публичные пространства, где подобная дерзость могла вызвать гораздо более репрессивный ответ, поскольку, как продемонстрировала Вера Данем, а совсем недавно показал Дэвид Хоффман, уравнивание советскости с культурным или цивилизованным поведением являлось ахиллесовой пятой советской — а в особенности сталинистской — идеологии. Боязнь нецивилизованного поведения, опасения, связанные с живучестью «пережитков прошлого», затемняют границы между намеренно антисоветским поведением и бездумными нецивилизованными поступками, когда вызов, брошенный прогрессу по-советски, оказывался не столь открытым, но не менее фрустрирующим для партии. Отчасти поэтому кажется, что страхи, связанные с такими табу, как мат, отражали неопределенность границы между «нецивилизованным» и «антисоветским» типами поведения, неопределенность, которая в более широком смысле отражалась в известном своей гибкостью определении «хулиганства». Обвинение в хулиганстве, начиная от наиболее раннего, дореволюционного (описанного Джоан Ноебергер) и вплоть до постсталинской эры, оказывалось нечетким и могло вбирать в себя все — от состояния опьянения и нарушения общественного порядка до возмутительных речей, включая сквернословие и критику системы.

Это широкое определение табуированного поведения отражало неискоренимую подозрительность партии по отношению к «отсталому поведению» и делало возможным колебания между разными истолкованиями этого поведения: было ли оно безвредным невежеством или угрозой режиму? В случае интересных нас речевых актов исключительная мощь языка, позволяющая транслировать и заражать, вызывала особую обеспокоенность, причем, как отмечается в статье, интенциональность часто не принималась в расчет ради того, чтобы подчеркнуть присущую самой речи способность причинять вред. Проблема интенциональности демонстрирует, насколько тес-

но использование языка и система языковой регуляции связаны с политикой идентичности. Как полагает Игал Халфин, партия, особенно в сталинский период, считала невозможным разрешить сомнения относительно прозрачности (или темноты) языка. Таким ли уж простым делом было осуществление контроля над языком и, следовательно, обеспечение гарантий «советскости», или же язык являлся средством сокрытия, барьером, стоявшим на пути попыток государства заглянуть в «души» людей? Соображения, высказанные в статье о творческом молчании и других стратегиях дискурсивной игры, подсказывают, что люди могли на самом деле *«высказываться по-большевистски»* (Стивен Коткин), в то же время постоянно скрывая свою богатую внутреннюю жизнь от власти. Хамфри высказывает плодотворную мысль о том, что сама строгость советских табу привела к возникновению богатого многообразия типов молчания как разновидности поведения, ведущего к своего рода «афазии» или бесплодному молчанию в постсоветскую эру, хотя работы Нэнси Рис демонстрируют, что растерянная реакция на падение советского режима разделялась лишь некоторыми социальными категориями, тогда как другие (например, горожане, интеллектуалы) почувствовали себя более комфортно в ситуации отсутствия запретов. Следует также помнить, что анекдот, способ игрового переворачивания официальных норм, продолжал существовать в течение всей советской эпохи и продолжает существовать в эпоху постсоветскую в качестве народной, не взирающей на лица дискурсивной формы, делающей более сложной представленную в статье картину народной культуры.

Учитывая неопределенность, преследовавшую языковую политику власти, языковые «декреты», о которых говорит Хамфри, могли приобретать юридическую силу, которую государство использовало для навязывания языкового порядка, однако они упрощают всю сложность попыток власти определить то, что может быть высказано. Подобно изменениям в содержании того, что *нужно* было говорить (не очень определенные установки социалистического реализма, описанные Сюзан Рейд и Режин Робен), правила того, что *не может* быть высказано, отнюдь не являлись установленными раз и навсегда и часто менялись благодаря тем трансформациям, которые претерпевал сам режим, особенно при переходе от сталинизма к постсталинской эре (и, как лаконично признается Хамфри, в конце советской эпохи). В то же самое время, как только нарушение табу категоризировалось в качестве того или иного типа правонарушения, табу отчетливо влекли за собой иные последствия. В статье недооцениваются различия между, например, сталинским законодательством и законодательством

более мягкой постсталинской эры, или между наказаниями за хулиганство и более серьезными обвинениями в «клевете» или антисоветских высказываниях. Вдобавок следует еще раз подчеркнуть важную роль, которую играл террор в качестве контекста самоцензуры: многие примеры, приведенные в этой связи, достаточно тесно связаны со сталинской эрой, причем целый ряд иррациональных представлений о слове постепенно исчезает в эпоху, наступившую после 1953 г.

Сходным образом остается обследовать и другие различия, которые власть часто, хотя и непоследовательно, проводила между разными типами языковых правонарушений и категориями преступников. Можно, например, говорить о различиях между устными и письменными текстами. На «устные» табу и попытки их установления в статье обращено больше внимания, чем, например, на столь же существенную проблему нарушения запретов в письменных формах, таких как распространение анонимных листовок, или более серьезную угрозу режиму, которой оказался самиздат как относительно неплохо институционализированный канал распространения текстов, нарушающих запрет на высказывания по поводу режима. Размышляя о судьбе людей, совершавших данный тип языковой трансгрессии и неизбежно подвергавшихся наказанию как антисоветские элементы, можно предположить, что письменные тексты вообще провоцировали более жесткие репрессии, чем нарушавшие табу устные высказывания, включая мат, а иногда даже «запретные слова», столь пугавшие тех, у кого они по неосторожности соскальзывали с губ.

Иными словами, аргумент в пользу языковой интенциональности можно более последовательным в темпоральном отношении образом применить к письменному слову, чем к устному. Такая «предпочтительность» по отношению к письменному слову, быть может, не покажется удивительной, если учитывать тот престиж, которым по сравнению с «просторечьем» обладала в рамках официальной советской культуры «высокая», литературная культура. Последовательно жесткое отношение к интеллектуалам и диссидентам, нарушавшим табу в неразрешенных *текстах*, представляет собой зеркальный образ этой иерархии и предоставляет богатый материал для дальнейших разысканий в области табу. Хамфри сама указывает, что диссиденты могли и не рассматривать свою задачу как нарушение запретов; конечно, их брезгливое отношение к нецивилизованному языку (гулаговской матершине) — заявленное, например, в писаниях Солженицына — указывает на то, что они были солидарны с установленными властью различиями между нарушением советских стандартов и универсальными цивилизованными нормами поведения и могли го-

раздо более компетентно удерживать концептуальные различия между ними. Различие между «отсталым» и «антисоветским», возникающее в еще более жесткой форме в рамках диссидентства, указывает на то, что проблема табу была прочно связана с классовой проблемой, а также проблемой различий между высокой и народной культурами. Как таковая она требует дальнейших конкретных разысканий, которые выявили бы различные типы табуированного языка и многообразные следствия, спровоцированные ими во многих социальных подгруппах, из которых складывалось советское общество.

*Пер. с англ. яз. Аркадия Блумбаума*